К 100-летию со дня рождения А. А. Ахматовой

«И СТАРШЕ БЫЛА Я ВЕКА РОВНО НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ...»

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

* * *

Я БРОСИЛА тысячи звонниц
В мою ледяную Неву,
И я королевой бессонниц
С той ночи повсюду слыву.
(1959)

* * *

И по собственному дому
Я иду, как по чужому,
И меня боятся зеркала.
Что в них, Боже, Боже! —
На меня похоже...
Разве я такой была!

* * *

Не то чтобы тебя ищу,
Мне долю не принять такую,
Но в этот кадр тебя вмещу,
В тот пейзаж тебя врисую.

* * *

НЕ МЕШАЙ мне жить — и так не сладко,
Что ты вздумал, что тебя томит!
Иль неразрешимая загадка
Ледяной звездой в ночи горит.
Или галереями бессониц
Ты ко мне когда-то приходил,
Иль с давно погибших белых звонниц
Мой приезд торжественный следил.
В прежних жизнях мы с тобою счеты
Плохо подвели, о бедный друг!
Оттого не спорится работа,
Сухо в горле, кровь бормочет что-то
И плывет в глазах кровавый круг.
Иль увидел взор очей покорных
В тот для памяти запретный час,
Иль в каких-то подземельях черных
Мертвой оставлял меня не раз.
И при виде жертвы позабытой
Места не найти тебе теперь...
Что там — окровавленные плиты
Или замурованная дверь!
В самом деле — сотни километров
Как ты и сказал мне — сущий вздор,
И знакомый с детства голос ветра
Продолжает наш старинный спор.

Комарово
1959. Июнь

ЖИЗНЬ Анны Ахматовой неразрывна с Ленинградом, с его поэтической традицией и школой, с его строгой, прекрасной архитектурой, равновеликой ее стихам. Здесь прошла почти вся ее жизнь, здесь в 1912 году вышел ее первый сборник «Вечер», возвестивший о рождении нового Поэта. Слава ее была безмерна.

Она пришла в русскую литературу во время, названное «Серебряным Веком». В поэзии царил Блок, но уже, сменяя символизм, преодолевая его, возникали иные течения, направления, группы. Ахматова входила в акмеистический «Цех Поэтов», но уже с самых первых книг стало ясно, что ее стихи не вмещаются в рамки принципов, провозглашаемых акмеистами.

В ее любовной лирике звучал голос времени. В ее поэзии была тайна, тщетно разгадываемая и современниками, и последующими поколениями читателей и ученых. Вот как пишет об этом известный исследователь творчества Ахматовой доктор филологических наук А. Павловский: «Что помогло ее стиху впустить в себя тревоги мира? Возможно, здесь сосредоточена одна из тех тайн поэзии, которую вряд ли удастся перевести на язык обыденности. Можно сказать, что огромность поэтической личности, каною была Ахматова, ее гениальное ощущение мира, ее тончайший художнический слух, ее человеческая — недремлющая и воспаленная совесть — вот, что создало эту уникальную в мировой литературе лирику».

Ахматова часто напоминала о божественной природе искусства, но стих ее по-пушкински ясен. Говоря о земном, обыденном, она всегда помнила о божественной тайне, о высшем предназначении поэта. В гениальном цикле «Тайны ремесла» она поведала, «из какого сора растут стихи, не ведая стыда» и чем они оборачиваются.

Ахматова сознательно выбрала путь и прошла его с достоинством, ни разу не поступившись честью. Она — истинно народный поэт (в высшем значении слова!), ибо не только жила жизнью народа, но чутко ощущала его душу, его трагедию и глубинную суть. Она создала истинно народное произведение — «Реквием». Она написала «Поэму без героя», в которой воплотилась история души, история страны и ее народа. Ее «таинственный песенный дар» (которому она знала цену), все, чего ни касался, превращал в Поэзию:

Ржавеет золото, и истлевает сталь,
Крошится мрамор. К смерти все готово.
Всего прочнее на земле печаль
И долговечней — царственное слово.

Она любила, знала и понимала родную землю. В конце жизни по праву могла сказать:

В заветных ладанках не носим на груди,
О ней стихи навзрыд не сочиняем,
. . . . . .
Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно — своею.

ЕЕ ПЕРВАЯ книга стихов «Вечер» вышла в 1912 году. Автору не исполнилось и двадцати трех лет, а громкая слава «российской Сапфо» сделала имя Анны Ахматовой сразу знаменитым.

Много позднее в «Северных элегиях» она скажет:

Есть три эпохи
у воспоминаний
И первая — как бы
вчерашний день.

Время ее ранней славы — «первая эпоха воспоминаний».

В последний год жизни она придумала, как бы от имени своего мужа, поэта Н. С. Гумилева, написанный эпиграф к этому первому сборнику:

Лилия ты, лебедь или дева
Я твоей поверил красоте, —
Профиль твой Господь
в минуту гнева
Начертал на ангельском
щите.

Предчувствие беды, усталость, утомленность придают особый привкус ранней лирике Ахматовой. И далеко не все ее стихи совпадали с «новым цветением слова», провозглашенным акмеистами, в «Цехе» которых она начинала свой путь.

Замечаю все как новое.
Влажно пахнут тополя.
Я молчу. Молчу, готовая
Снова стать тобой, земля.

В 1911 году она напророчила:

Он мне сказал: «Не жаль,
что ваше тело
Растает в марте, хрупкая
Снегурка».

А в марте 1966 года ее тело положили в «добрую землю» Комаровского кладбища.

Последние годы стали третьей «эпохой воспоминаний», где все слилось в каком-то немыслимом сплаве: слава и хула, болезни и международные премии, звериная боль одиночества и новый друг — читатель, глядевший на нее уже из иного — грядущего века.

А вторая «эпоха воспоминаний» пришлась на страшное тридцатилетие сталинщины.

И проходят десятилетья.
Пытки, ссылки и казни.
Петь я
В этом ужасе не могу.

Воспоминания об этих годах преследовали давящим кошмаром до конца жизни. Из «Дневника»: «6 ноября 1965. Сегодня мой страшный день. Которая-то годовщина ареста Левы (1949). Тогда никто не думал, что осталось так мало лет (3)... ужас. Ужас вливается в тело и делится им. Как чудовища у Данте. Человеку кажется — это не его рука, а рука чудовища. Это не его совесть, а совесть чудовища».

Совесть. Вот ключ к поэзии Анны Ахматовой.

И только совесть с каждым днем страшней
Беснуется: великой хочет дани...

Или:

А я всю ночь веду
переговоры
С неукротимой совестью
моей.

Или:

Кто над мертвым со мной
не плачет,
Кто не знает, что совесть
значит
И зачем существует она.

Поэзия Ахматовой — стихия неукротимой совести народной. Ей было совестно писать только о своих чувствах, хотя в этих лирических описаниях рождались общечеловеческие слова любви и страдания. Их так много в «Четках» и «Белой стае» — книгах, написанных Анной Ахматовой в другой России, в ином времени и пространстве. Но нет ничего страшнее стихов, рожденных в горниле войны и революции:

Семь дней любви, семь
грозных лет разлуки.
Война, мятеж, опустошенный
дом.
В крови невинной
маленькие руки,
Седая прядь над розовым
виском.

В этих строках, написанных в роковом 1921 году, когда она оплакивала своего великого современника Александра Блока, безвинно расстрелянного Николая Гумилева, уже содержится вся программа будущего «Реквиема» — этого выстраданного проклятия палачам родной страны, этого стона за всех загубленных в подвалах темниц, на нарах лагерей, задохшихся в петле насильственной немоты.

Лучше бы поблескиванье
дул
В грудь мою направленных
винтовок
1921

Может быть, я и сдамся
для виду.
Не притронусь я дулом
к виску.
1958

Эти горестные признания вырывались у нее не раз, когда она направляла и в свою грудь пули, сразившие Гумилева и Маяковского, примеривала на свою лебединую шею петли, заставившие «напиться пустотой» Есенина и Цветаеву. Страшную участь русских поэтов она делила, когда медленно рвалось ее так много вместившее в себе сердце.

...Оттого, что мы все пойдем
По Таганцевке, по Есенинке
Иль большим Маяковским
путем...

Возможностей поставить точку предоставлялось сколько угодно. Вспоминая легкий «предрассветный час» той, первой эпохи своей молодости, она писала:

Да лучше б я повесилась
вчера
Или под поезд бросилась
сегодня.

Но задача состояла в другом — дожить и пережить. Чтобы сказать свое слово — «царственное Слово» Поэта взамен лжи, диктуемой официальными историками. Поэт диктует свою историю, историю, где главным судьей и мерилом нравственных ценностей выступает Совесть:

Скоро мне нужна будет
лира,
Но Софокла уже —
не Шекспира.
На пороге стоит — Судьба.

«И скольких жизней голосом твоим Искуплены ничтожество и мука», — сказал о ее стихах еще в 1916 году ее друг и учитель Николай Недоброво. И как сбылись эти слова во всей последующей судьбе Ахматовой! «Гранитный город славы и беды» называли городом Пушкина, Блока. Сегодня мы зовем его и городом Анны Ахматовой.

М. КРАЛИН

ПОЭТ И ЭПОХА

Николай ГУМИЛЕВ

Царица

Твой лоб в кудрях отлива
бронзы,
Как сталь, глаза твои остры,
Тебе задумчивые бонзы
В Тибете ставили костры.
Когда Тимур в унылой злобе
Народы бросил к их мете.
Тебя несли в пустынях Гоби
На боевом его щите.
И ты вступила в крепость
Агры,
Светла, как древняя Лилит,
Твои веселые онагры
Звенели золотом копыт.
Был вечер тих. Земля
молчала,
Едва вздыхали цветники,
Да от зеленого канала,
Взлетая, реяли жуки.
И я следил в тени колонны
Черты алмазного лица
И ждал, коленопреклоненный,
В одежде бозовой жреца.
Узорный лук в дугу был
согнут,
И, вольность древнюю любя,
Я знал, что мускулы
не дрогнут
И острие найдет тебя.
Тогда бы вспыхнуло былое:
Князей торжественный
приход,
И пляски в зарослях алоэ,
И дни веселые охот.
Но рот твой, вырезанный
строго,
Таил такую смену мук,
Что я в тебе увидел Бога
И робко выронил свой лук.
Толпа рабов ко мне
метнулась,
Теснясь, волнуясь и крича,
И ты лениво улыбнулась
Стальной секире палача.

Иосиф БРОДСКИЙ

А. А. Ахматовой

ЗА ЦЕРКВАМИ, садами, тетрадями,
за кустами в холодных дворах,
в темноте за дверями парадными,
за бездомными в этих дверях.
За пустыми ночными кварталами,
за дворцами над светлой Невой,
за подъездами их, за подвалами,
за шумящей над ними листвой.

За бульварами с тусклыми урнами,
за балконами, полными сна,
за кирпичными красными тюрьмами,
где больных будоражит весна,
за вокзальными страшными люстрами,
что толкаются, тени гоня,
за тремя запоздалыми чувствами
Вы живете теперь от меня.

За любовью, за долгом, за мужеством.
Или больше — за Вашим лицом,
за рекой, осененной замужеством
за таким одиноким пловцом —
за своим Ленинградом, за дальними
островами в мелькнувшем раю,
за своими страданьями давними
от меня за замками семью.

Разделенье не жизнью, не временем,
не пространством с кричащей толпой,
разделенье не болью, не бременем
и, хоть странно, но все же — не судьбой.
Не пером, не бумагой, не голосом —
разделенье печалью, к тому ж
правдой, больше неловкой, чем горестной:
вековой одинокостью душ.

На окраинах, там, за заборами,
за крестами у цинковых звезд,
за семью-семьюстами запорами
и не только за тысячью верст,
а за всею землею неполотой,
за салютом ее журавлей,
за Россией, как будто не политой
ни слезами, ни кровью моей.

Там, где впрямь у дороги непройденной
на ветру моя юность дрожит,
где-то близко холодная родина
за Финляндским вокзалом лежит,
и смотрю я в пространства окрестные
напряженно, до боли уже,
словно эти весы неизвестные
у кого-то не только в душе.

Вот иду я, парадные светятся,
за оградой кусты шелестят,
во дворе Петропавловской крепости
тихо белые ночи сидят.
Развивается бледное облако,
над мостами плывут корабли,
ни гудка, ни свистка и ни окрика
до последнего края земли.

Не прошу ни любви, ни признания,
ни волненья, рукав теребя.
Долгой жизни тебе, расстояние,
но я снова прошу для себя
безразличную ласковость сбрую
и — при встрече — все то же житье.
Приношу Вам любовь свою долгую,
сознавая ненужность ее.
1962 июнь 24-е

«А каждый читатель как тайна»

КРЕЧЕТОВА Т. А., научный сотрудник, 12 марта 1959 г.

...Дело происходило в 1922 году в Ленинградском университете, в аудитории физического факультета. Вы выступали с чтением своих стихов перед огромной аудиторией, состоящей, главным образом, из студенческой молодежи. Вас слушали с большим вниманием и живо реагировали на каждое ваше слово. Вам не давали кончить, без конца просили читать стихи и не отпускали уйти с кафедры. На меня большое впечатление произвел успех этого вечера, подъем, с которым вы читали, такой контакт с аудиторией...».

ДАВЫДОВ И. А., издательский работник, 22 июля 1966 г.

«Дорогая Анна Андреевна! Летом сорок третьего года в нашу землянку на Курской дуге кто-то принес вот это стихотворение:

Один идет прямым путем,
Другой идет по кругу.
И всякий ищет отчий дом
И прежнюю подругу.
А я иду, за мной беда,
Не прямо и не косо,
И в никуда, и в никогда,
Как поезда с откоса...

А потом, прочитав его вслух, добавил: «Это Анна Ахматова!» И, мол, стихотворение это якобы написано вами карандашом на одном из экземпляров книги ваших стихов, изданной в годы войны в Ташкенте.

Я послал тогда письмо вам, чтобы узнать, так ли все это? Ответа я не получил. Стояло военное лихолетье. Письмо могло и не дойти, или ответ ваш мог затеряться. Был бы бесконечно признателен, если бы вы сказали, действительно ли вам принадлежит это стихотворение?»

Анна Андреевна в своем, еще не полностью опубликованном дневнике, хранящемся в ЦГАЛИ, отметила день получения этого письма как важное для себя событие и немедленно послала ответное письмо И. А. Давыдову, подтверждая, что это стихотворение действительно принадлежит ей...

ДРИБИНСКИЙ А., 23 апреля 1964 г., Москва.

«В сентябре 1946 г. из своего — невольного для меня — Заполярья, — писал я вам с тем, чтобы выразить всю меру моей читательской признательности за ваши стихи.

Письмо мое я направил через отделение Союза писателей в Ленинграде. Но более чем вероятно, что вы его не получили: спустя несколько дней после его отсылки люди читали пресловутый доклад о ленинградских журналах.

Едкой горечью, стыдом, ниногда затем не отпускавшей болью отозвалось в сердце то дикое поношение, которому вы тогда подверглись. И мучительно хотелось быть уверенным, что вопреки всему — не надломитесь вы...»

КОЛОМЕЕЦ Н. С., капитан, 7 января 1962 г., г. Килия Одесской обл.

«Раньше я читал ваши стихи, а когда наши сатрапы так подло очернили вас и М. М. Зощенко, то я душевно переживал за вашу судьбу».

ЧЕТВЕРУХИН С. И., 30 июня 1965 г.

«Многоуважаемая и близкая сердцу Анна Андреевна! Не так давно прочитал некоторые ваши стихи тех лет, и они прожгли мою душу. Таких я тогда не писал, но стихи были моей отдушиной, клапаном, вещью, помогавшей мне не забывать в себе человека. Все они написаны на Воркуте. И я осмеливаюсь показать кое-какие вам».

ОТВЕТ А. А. Ахматовой С. И. Четверухину.

Спасибо вам, многоуважаемый Серафим Ильич, за письмо и стихи. Они — выстраданные и искренние. Желаю вам всего доброго.

Анна Ахматова
18 авг. 1965 г. Комарово.

ЮРГИН О. В., юрист.

Адрес на конверте 1965 года: г. Ленинград. Лучшему поэту Советской России Анне Ахматовой.

«... После памятного 1946 г., после «исторического» постановления, как теперь очевидно, несостоятельного и ошибочного, опровергнутого самой жизнью, я стал всюду искать и стихи ваши и портреты.

...Да, стихи ваши найти очень тяжело, ох как тяжело. Но когда знаешь их, с радостью поймешь, что потерял бы столько светлого в своей личной жизни, хорошего, если б не прочитал, не запомнил их. Узнав ваши стихи, то есть полюбив их, пережив в себе, видишь, что только так можно выразить то, чем полно мое сердце. По своей профессии я чрезвычайно далек от поэзии и вообще изящной словесности, т. к. мое занятие — это борьба с преступностью.

Мне нравится, что вы обращаетесь ко мне одному, что стихи ваши лаконичны, совершенны и коротки, как афоризмы. За внешней сдержанностью такая напряженность, даже ярость, что просто потрясает тебя и уж конечно ни с кем не спутаешь».

Письма читателей публикуются по материалам архива А. А. Ахматовой в Публичной библиотеке, стихи (из собрания М. С. Лесмана) — ныне в музее Фонтанного Дома. Некоторые материалы полосы войдут в сборник «Об Анне Ахматовой», который выпускает Лениздат в нынешнем году — составитель М. Кралин.

СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ СУДЬБА

1

ИЗ ГОДА в год, с давних послевоенных лет, хоть один, хоть два летних месяца я обязательно провожу в Комарове, в тамошнем писательском Доме творчества. И часто, когда я шагаю по пристанционной улице, люди, только что сошедшие с поезда и, очевидно, по неспешной моей походке угадывающие во мне здешнего старожила, обращаются ко мне с вопросом: «Как пройти на кладбище?». Или: «Как пройти к могиле Ахматовой?». Или еще проще: «Скажите, как пройти к Ахматовой?».

А не всегда так было. Первое время после года 1966-го, года ее кончины, тоже задавали мне этот вопрос — но реже. Но время идет — и все ширится поток паломников. Идут к могиле Анны Ахматовой, — ибо чтут ее как живую, ибо жива ее поэзия.

Жизнь была к ней несправедливо строга. Но сама к себе Ахматова была еще строже, — и своими стихами, своей непобедимой творческой честностью она подчинила себе свою судьбу, восторжествовала над ней.

2

ЛИЧНОМУ знакомству с Анной Андреевной я всецело обязан Александру Ильичу Гитовичу. Увы, его тоже нет в живых. Этот талантливый поэт, этот умный, смелый и добрый человек в предвоенные годы руководил «Молодым объединением», — группой начинающих поэтов при Ленинградском Союзе писателей.

Помню, в конце 1938 или в самом начале 1939 года мы обсуждали стихи молодого поэта и прозаика Глеба Чайкина. Происходило это, как обычно, в Мавританской гостиной Дома писателя — но вечер тот был необычный, ибо на нем присутствовала Анна Ахматова, и я впервые увидал ее.

Ушла она с обсуждения незадолго до его окончания, но успела сказать несколько слов о стихах Глеба Чайкина. Что именно она говорила — не помню, но запомнил мягкость ее оценки и доброжелательность ее тона. Меня это тогда удивило. Мы не щадили друг-друга, а уж ей-то и карты в руки, она, с высоты своего творческого опыта, могла разбомбить любого из нас, в том числе и Глеба, — однако не сделала этого. И притом в ее словах не было никакой надменной снисходительности, — нет, она говорила о Глебе, как поэт о поэте, как о человеке талантливом. Да таким он и был.

До того дня я считал, что Ахматова должна выглядеть весьма пожилой. Я помнил ее лицо по какому-то давнему фотоснимку и подсознательно делал поправку на ход времени, на неизбежное старение. Ведь мне-то в описываемый вечер было двадцать с небольшим, а в таком возрасте мы склонны всех, кто старше нас, зачислять в старики. И вот, когда я увидал ее в Мавританской гостиной, я был как-то странно, както празднично удивлен тем, что на самом-то деле она вовсе не выглядит пожилой, что она почти не обогнала во времени свою давнюю фотографию.

Еще осталось у меня с того дня такое впечатление об Ахматовой: она — вроде бы как все, она не стремится быть не как все, она нисколько не кичится своей известностью. Однако есть в ней какая-то естественная, благородная автономность, не отгораживающая, но отличающая ее от других; автономность, которую она, наверно, и сама не осознает, которая прорастает из тайных глубин ее характера.

Такова была моя первая встреча с Анной Ахматовой. Еще не знакомство, а лишь лицезрение, созерцание. А познакомился с нею я уже после войны, и опять-таки через Александра Гитовича. И вообще не раз получалось так, что встречался я с нею благодаря ему и в его присутствии. В послевоенные годы, и особенно последние пять-шесть лет своей жизни Ахматова с ним дружила. Она уважала его и за неподкупную прямоту суждений в их спорах (а спорили они часто), и за стихи его, и за доброе его отношение к людям.

Меня не изумляла ее удивительная память и начитанность. Само собой разумеется, что классику она знала досконально, знала и поэзию предреволюционную, — ведь она, Ахматова, и сама пришла к нам из «Серебряного Века» русской поэзии. Но поражала ее осведомленность, ее молодая заинтересованность поэзией текущего дня, стихами начинающих поэтов, порой еще совсем малоизвестных. Суждения ее были точны и кратки, в них почти всегда ощущалась доброжелательность. А вообще-то в разговорах о поэзии она была порой резка, остра, — но эти резкость и острота были, как правило, направляемы ею на самую суть спора, а не против спорщика.

3

СТИХИ ее теперь знают все, кто знает и любит русскую поэзию. Этот ее дар — с нами. Он — жив, он не покинет живых. Но был у нее и еще один талант, который навек ушел от нас с ней. Это — изумительное богатство ее устной речи, богатство словесное и интонационное. В споре, в обыденном разговоре она умела выражать свои мысли удивительно точно, просто, естественно, — и в то же время многозначительно, с многогранным глубинным подтекстом. И это независимо от того, о чем шла речь, — о чем-либо важном, значительном или о второстепенном, мелком, бытовом.

Помню, в 1952 году побывал я у нее, — опять же вместе с Гитовичем — в доме на улице Красной Конницы, куда она переехала из Фонтанного Дома. Разговор у Анны Андреевны и Александра Ильича шел, как мне помнится, о китайской поэзии и о переводах с китайского. Потом, когда зашла речь о поэзии вообще, я сказал, что у Пастернака мне больше всего дорого его стихотворение «Как в пулю сажают вторую пулю...». Но Мандельштам — в целом — мне еще дороже, ибо во всех его стихах, явно или подспудно, неизменно чувствуется питерская интонация поэта. Выслушав это, Анна Андреевна молвила, что это хорошо, когда человек (в данном случае — я) любит свой город, но все-таки в таком моем топографическом подходе кроется недооценка творчества обоих поэтов. Ведь каждый из них несет в себе свой мир, и территория этого мира не ограничивается той местностью, которая отражается в их стихах, и той поэтической школой, к которой каждый из них примыкает.

Однажды я был у Анны Андреевны и в Фонтанном Доме, и тамошняя ее квартира запомнилась мне каким-то стойким неуютом; да и год был неуютный. Здесь же, на улице Красной Конницы, жилье ее показалось мне более обжитым, ощущалась более прочная налаженность быта. И вот, когда мы с Гитовичем собрались уходить, я, желая сделать хозяйке приятное, указал рукой на потолок комнаты, где по штукатурке вились какие-то незатейливые лепные узоры, — и заявил, что это — настоящая петербургская квартира.

— Да, — задумчиво согласилась Анна Андреевна, — ведь когда-то здесь жили петербургские извозчики.

Она сумела вместить в эту короткую фразу и грусть, и силу своего гордого сопротивления неправедной судьбе, и легкую, беззлобную иронию по отношению ко мне, к моему ненужному комплименту. И когда мы распрощались с ней, Александр Ильич сказал мне на улице: — «А хитренько подкусила вас Акума». (Акума — это было ее прозвище для друзей.)

4

В ДРУГОЙ раз Анна Андреевна «подкусила» меня построже. То было летом 1959 года, когда она жила в комаровском Доме творчества, когда еще «будка» (так называла она крохотную казенную дачу) не была ей выделена. Тем летом я однажды в саду возле столовой спросил Анну Андреевну, зачем это она сказала о Блоке, что он «трагический тенор эпохи», ведь слово «тенор» не очень-то ему подходит.

— Это мне уже многие говорили, — спокойно, констатирующе ответила она. Ответила вроде бы без обиды, но по каким-то тончайшим звуковым колебаниям я понял, что под «многими» она подразумевала людей, не шибко разбирающихся в ее поэзии.

Но были разговоры в Доме творчества и более приятные для меня, и более длительные, нежели тот, о Блоке. Один из них довольно четко запечатлелся в моей памяти. Однажды я стал доказывать Анне Андреевне, что Бенедиктов — поэт, недооцененный современниками, да и в наше время его и мало знают, и мало понимают. А ведь он, ежели вдуматься и вчитаться, был предшественником символизма. И даже более того: он сумел, так сказать, перепрыгнуть через символизм, в его стихах есть какая-то инфернальность, роднящая его с сегодняшним нашим днем.

В ответ на это Анна Андреевна высказалась в том смысле, что к Бенедиктову она относится несколько строже, нежели я, но признает, что для моего поколения он, быть может, и вправе казаться таким, каким представляется мне.

И еще одно мое впечатление — самое значительное, и тоже связанное с Домом творчества. Однажды в комнату № 36, где я обитал, постучался Александр Ильич и повел меня с третьего этажа на первый, к Ахматовой в гости. Здесь, в комнате № 12, очень светлой (две ее стены состоят сплошь из окон), Анна Андреевна стала читать нам «Реквием». Сама она читала не все, часть «Реквиема», по ее машинописной рукописи, прочел Гитович. Я слушал, не шевелясь, но сознание значительности и необыденности происходящего порой затмевали для меня поэтическую силу и значимость самого произведения; к тому же стихи я полнее воспринимаю не слухом, а зрением. Поэтому, когда Гитович закончил чтение, я попросил у Анны Андреевны рукопись и, сидя в кресле, впился в текст глазами (точнее — своим единственным зрячим глазом). Когда прочел — ничего не сказал, понимал, что тут самые высокие похвалы прозвучали бы банально и никчемно.

Вадим ШЕФНЕР